

*Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра...
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.*

Пушкин

*Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении
суть качества, отличающие народ российский. И если
бы место было здесь на рассуждения, то бы показать
можно было, что предприимчивость и ненарушимость
в последовании предприятю есть и была первою причи-
ною к успехам россиян: ибо при самой тяготе ига чуже-
странного сии качества в них не воздремали. О народ,
к величию и славе рожденный, если они обращены в тебе
будут на снисkanie всего того, что соделать может
блаженство общественное!*

Радище в

ПРОЛОГ

Я видел море, я измерил
Очами жадными его;
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.

Полежаев

Весной 1688 года, к Егорью-вешнему, что праздновался на Руси в конце апреля, двинские полые, разливные воды уже успели вынести весь речной лед в Белое море. Тотчас же задули ровные теплые ветры, разогнали низкие тучи, выглянуло солнце, заиграло на воде, на мокрых серебристых стволах берез, на куполах церкви Сретенья в Николо-Корельском монастыре, что издавна стоит над Никольским устьем Северной Двины.

Под теплыми сырими ветрами лопались березовые почки, наливались соками листы ивняка; двинские луга день ото дня все обильнее заливало густо-зелеными травами.

На Иоанна Богослова, в погожее утро, прибрежной дорогой из монастыря в город Архангельск проскакал всадник — за служниками обители, промышленниками и рыбаками, морского дела старателями, нанятыми монастырским келарем для дальнего плавания на Новую Землю — на Матку. Еще зимою служники получили от монастыря по мешку хлеба, крупы, соли, уксусу, масла да деньгами по пять алтын на душу. Нынче наступало время расплаты.

Отгуляв в Архангельске два прощальных дня, морского дела старатели под вой и причитания баб большой ватагой, человек в полста, отправились править службу. Сзади, чтобы кто не сбежал дорогою, ехали на конях два монаха с длинными плетями, зорко поглядывали на шагающих с песней поморов. Народ постарше шел степенно, с посошками, закинув за спину берестяные коробки

со снедью. Молодые перешучивались, дразнили монахов, прикидываясь, что убегают...

В попутных деревеньках артель отдыхала неподолгу, толковала с мужиками, смолившими по берегам свои лодьи и карбасы, о пути на Новую Землю, о тамошних промыслах, о том, как бить моржа. Мужики рассказывали были и небылицы о монастырских лодьях, что изготовил к спуску лодейный мастер Тимофей Кочнев, по кличке Редька. Одни говорили, что лодьи трехмачтовые, тысяч на десять пудов, другие божились, что поболее, третьи рассказывали, что поведет всю ватагу в море нынче не дед Мокий, а другой кормщик, из молодых, кто — доподлинно неизвестно.

У белых стен обители, возле ворот, служников встретил монастырский келарь отец Агафоник, с ним стояли старик-кормщик Мокий и маленький жилистый Кочнев. Служники оборвали песню, поклонились. Поклонился и Агафоник. Знал: поморы спину гнуть не любят, на поклон отвечай поклоном; коли не ответишь чинно, с уважением — пеняй на себя.

— Поздорову ли дошли, детушки? — спросил дед Мокий, радостно оглядывая статных, плечистых рыбаков, многих из которых он знал еще ребятишками-зуйками.

— Дошли — ничего! — сильным и низким голосом ответил за всех молодой кормщик Рябов. — Ты-то здоров ли, дединька?

Мокий снизу вверх посмотрел на Рябова, улыбаясь покачал простоволосой сивой головой.

— Чего качаешь? — тоже улыбаясь, спросил кормщик. — Али чем не угодил, дединька?

— Здоров же ты, внучек, — любуясь молодым кормщиком, произнес Мокий. — Ишь, здоров! Сиротою, на тресочке да на хлебушке, а как взошел. Вон вымахал, что сосна мачтовая...

Он обернулся к Агафонику, сказал ему со значением:

— Об нем и говорено было давеча, отец келарь. С малолетства в море, хоть и молодешенек, а всего хлеб-

нул, компас знает, по звездам хаживал, артель за ним куда хочешь пойдет...

Агафоник кивнул, велел народу сложить котомки и идти на работу. В монастыре служников даром не кормили...

К вечеру из ворот монастыря вышел игумен в облачении, сопровождаемый братией. Монахи шли попарно, опустив головы в клубуках. Сладко запахло ладаном. Игумен кропил суда, назначенные к спуску, святой водой, позвякивал кадилом, монахи пели сытыми голосами. Морского дела старатели в белых чистых рубахах, в сапогах, бахилах, усталые за день, стояли поодаль, позевывали. Подручный мастера Кочнева — дядя Ермил, чернобородый, всклокоченный, измазанный смолою мужик, — негромко жаловался Рябову:

— Монастырю служить — помереть легче. Казны полны амбары, а они всё скупаются. Корелин Иван Кононович четыре дня с ними ругался! Кочнев вовсе извелся с ними, с живоглотами. Говоришь Агафонику, черту злomu, что-де для океанского хода суда, на Грумант идти, на Матку, на другие дальние земли; большой-де прибыток обители будет, — не слушает! За каждый железный гвоздь душу вытрясет. На эдаких лодьях сколь вы одного рыбьего зуба монастырю привезете...

— Не им в море идти! — сказал кормщик. — Им на бережку сидеть, Богу молиться.

Молебен кончился, Ермил побежал к мастеру Кочневу, понес ему топор на длинном топорнице — выбивать подпоры. Лодьи, назначенные к спуску, без мачт и без оснастки, стояли на городках из бревен у самой воды на пологом берегу Двины. Чреватые, просмоленные огромные днища словно просились, чтобы скрыли их в море.

— И то пора! — сказал дед Мокий. — Лодьи Тимофей добрые выстроил, река в заливной воде убывать начала, самое время к спуску. Оснастим, да и пойдешь, Иван Савватеич, в море; люди говорят, от льда очистилось, живет наше морюшко...

Кочнев взял у Ермила топор, поплевал на ладони, вздохнул. Оба — мастер и подручный — вместе подняли топоры, в лад ударили по бревнам, подпирающим корму судна. Лодья качнулась на огромных, смазанных ворванью, деревянных полозьях, поползла кормою к воде. Морского дела старатели, затаив дыхание, без шапок, смотрели, ладно ли спускается судно. Ловко спущено — жить год без горя. А случись что при спуске — готовься к беде.

— Ладно закачалась! — сказал дед Мокий. — Добрый тебе путь будет, кормщик!

Едва спустили первую лодью, как плотники начали поднимать на ней мачту. За первой спустили еще — двухмачтовую, за ней — третью. Над рекою вперебор, весело застучали топоры, еще многое надо было доделать на плаву. Пригнанные из города служники вместе с монастырскими плотниками работали белыми ночами, не только днем. Тимофей Кочнев, исхудавший, с бороденкой торчком, сухой, жилистый, быстрый, сам снастил суда, ругался с келарем Агафоником, грозил ему, что вот-де приедет от Москвы Иван Кононович, быть большому шуму. В оснастке Кочневу помогал Рябов; дед Мокий более сидел на бережку, глядел на белокрылых чаек, размышлял. Ноги уже худо слушались старика, подниматься на лодьи ему было трудно.

Когда у Рябова выдавалось свободное время, он подсаживался к старому кормщику, выпрашивая его обо всем, что тот испытал на своем веку, внимательно слушал поучения.

— Во льды попадешь — не робей! — учил Мокий. — Что плохому по уши — удалому по колена. Ты льдов берегись, а коли попал — не робей. Торосья идут, визг, стон, одна дума — живым не протолкаться. А ты той думе ходу не давай. Лодейные наши мастера люди головатые, от дедов строят суда так, что раздавить их трудно, днища-то примечал какие? Словно яйцо! Вот и размышляй. Да ведь не впервой тебе — бывал тертым, тогда вместилах попали... Далее слушай: ежели зазимуете, мой

тебе совет, детушка, — всю ватагу в великой строгости держи, чтобы люди сном не баловались али тоской-скукой. Пожалеешь — похоронишь. Народ наш промысловый недаром об зимовьях со скорбью сказывает: люди мрут — нам дорогу трут, передний-де заднему — мост на погост. Строгость, Иван Савватеич, в беде первое дело.

Рябов вдруг засмеялся.

— Чего веселишься? — удивился дед Мокий.

— Как мы в запрошлом году с тобой, дединька, зимовали, вспомнил! — сказал Рябов. — Повалился я тогда спать, а ты меня веревкой, веревкой...

Дед тоже засмеялся, добрые морщинки собрались возле его глаз.

— Осерчал ты в ту пору...

— Осерчал, да живой остался. А ты меня, дединька, погнал моржовое сало беречь...

Мокий засмеялся пуще:

— Было, было. Повадился к нам ошкуй моржовое сало пить...

— Пудов пять зараз тот медведь выпил! — сказал Рябов. — Я его, клятого, свалил, а ты сразу с бочкой. Переливать, дескать, обратно, пока горячее...

Подошел Кочнев, спросил:

— С чего смехи-то?

— Да вот ошкуя вспомнил! — сказал Рябов. — На Новой Земле дело было. Что ж, скоро ли пойдём, господин лодейный мастер?

Кочнев подумал, ответил не сразу:

— Надо бы к воскресенью.

...В ночь на субботу все шесть лодей — три новые и три старые — были готовы к дальнему морскому пути. Монастырский отец-оружейник выдавал служникам-промышленникам снасть для боя моржей по счету — железо ценилось дорого. Другие служники вереницей несли на суда двухгодовой запас — муку в кулях, бочки с крупами, соль, масло. На лодьях в каютах-казенках ради сырой погоды топились печи; люди, готовые к выходу в море, уже жили не на берегу, а на судах.

Рябов, в накинутом на широкие плечи суконном кафтане, в рыбацких, до бедер, юфтовых, промазанных ворванью сапогах-бахилах, в вязаной фуфайке, стоял у схода, негромко разговаривал с мальчиком-подростком лет четырнадцати. Мальчик был в порыжелом подрясничке, в скуфейке, черные его глаза горячо смотрели на Рябова.

— За кулями и схоронишься! — говорил Рябов. — Никто тебя, детка, не приметит. Заснул на лодье, а как в море выходили — не услышал. Всего делов...

Мальчик кивнул черноволосой головой и спрыгнул на лодью.

— На корму иди! Слышь, Митрий? — крикнул Рябов. Мальчик, хромая, скрылся за бочками и кулями.

— Загрызут его здесь! — сказал Рябов Мокию. — Толмачит на иноземных кораблях, а какая парню польза? Он толмачит, а что денег заплатят, то — на монастырь. Прошное лето, как мы в море ушли, он здесь вовсе оголодал...

Мокий вздохнул:

— Сирота, кому не лень, тот и по загревку. Выучится — добрым мореходом станет.

— Он и то грамоте обученный, — сказал Рябов. — И письменный, и компас знает. Где в море перевал, где курс сменяем, глядишь, напишет, а после и прочтет. И себе добро, и другим не без пользы.

Утром в воскресенье, после того как отстояли молебен для плавающих и путешествующих, келарь подошел к толпе служников, поклонился, попросил к отвальному столу — не побрезговать дедовским обычаем. Стол был поставлен в монастырской трапезной — это означало выход в море, прощание со своей землей надолго. Под образами в красном углу сел только нынче приехавший лодейный мастер Корелин Иван Кононович, славящийся своими лодьями по всему Беломорью, справа от него келарь Агафоник, слева дед Мокий, рядом с ним Кочнев — ученик Ивана Кононовича. Инок у наложки прочитал молитву. Рябов шепнул Кочневу:

— Всё молятся монаси! А как вдовам рыбацким мучки али маслица — не дожدهшь!

После молитвы послушники, опустив глаза, налили из глиняных кувшинов водку в кружки — рыбакам и промышленникам, кормщикам и лодейным плотникам. Выпили по единой — первой, народ заговорил бойчее, языки развязались, посыпались шутки.

Попозже, когда народ расшумелся, дед Мокий громко спросил у келаря Агафоника:

— А ведаешь ли ты, отче, как гуси летят в поднебесье?

Монастырские служники сразу затихли, ожидая шутки, но дед смотрел на келаря невесело, почти сурово.

— Летят и летят, как от Господа велено! — ответил келарь.

— То-то, как велено! Крылья раскинут, носы вперед, ну и летят! Верно, летят напрямиком! И артель свою, ватагу, завсегда вожак ведет...

В трапезной стало совсем тихо, народ посматривал то на Мокия, то на молодого Рябова.

— И быть вожакom в ихнем деле — самому сильному, ловкому, смышленому, иначе вожак первым в океане-море от устатка повалится, — так говорю? Далече лететь из теплых краев, отче, к нам — на Колгуев, да на Моржовец, да на Вайгач, ох далече. Суди теперь сам — куда обитель твоя нас посылает! Не в близкие места. На Новую Землю идти морского дела старателям, на Матку. Тебе отсюда-то все видится близко, а мы знаем — не впервой туда парусом бегаем... Вожак ватаге надобен.

— Тебе и быть первым кормщиком, — осторожно ответил Агафоник. — Как хаживал — так и ныне пойдешь.

— Нет! — покрутил сивой головой Мокий. — Отходил я свое, отче.

И, оглядев застолье, дед громко, суровым голосом спросил:

— Люб ли вам, братцы, первым кормщиком Рябов Иван сын Савватеев?

Люди отвечали не торопясь, один за одним, спокойно, вначале старики, потом кто помоложе.

— Люб Иван Савватеич! — сказал рыбак Копылов.

— Хорош малый, люб! — кивнул черный, с острым взглядом кормщик Нил Лонгинов.

— Люб!

— Ставить кормщиком над ватагой!

— Люб нам Иван сын Савватеев!

— Отец его первым кормщиком ходил, нынче — ему...

— Пусть ответ говорит!

— По обычаю, как повелось!

— Как от дедов на Беломорье заведено!

Рябов встал с лавки, упершись могучими руками в стол, поклонился народу на три стороны, поблагодарил всех тех, с которыми не раз хаживал в море, сказал, что велика ему честь. Народ загудел, что просит честь принять. Рябов молча повернулся к деду Мокию, который с волнением ждал этой минуты. Много лет тому назад другой старый кормщик так же передавал артель молодому Мокию, как нынче дед Мокий будет передавать ее Рябову.

Не торопясь, негромко Мокий начал задавать вопросы:

— Спупутие ведомо ли тебе, Иван Савватеич?

— Ведомо, дединька! — спокойно и уверенно ответил Рябов.

— Глыби морские, луды, кошки, мели — ведомы?

— Так, дединька, ведомы.

— Волны злые, ветры шибкие, волны россыпные ведомы ли?

— Ведомы, дединька!

— Пути лодейные дальние на Грумант, на Матку, на Колгуев, в немцы, вверх в Русь ведомы ли тебе, кормщик?

— Ведомы, дединька!

— Звезды ночные, компас ведаешь ли?

— Ведаю.

— Поклонишься ли честным матерям рыбацким, женкам да малым детишкам, что покуда жив будешь — не оставишь рыбарей в морской беде?

— Поклонюсь, дединька!

Дед Мокий расстегнул сумочку, что висела у него на поясе, достал оттуда старый, вделанный в пожелтевшей кости компас, положил его перед Рябовым, сказал строго:

— Артельный!

— Ведаю.

— С ним и пойдешь. Компас добрый...

Лицо старика совсем посуровело. Рябов опустил голову, легкая краска заиграла на его скулах.

— Кажись бы, и все сказано, — произнес Мокий, — да еще об едином надобно помянуть...

Он вздохнул, вздохнули и другие, — многие из сидящих за столом знали, о чем речь.

— Я тебе не в попрек, — не глядя на кормщика, сказал Мокий, — я для бережения сказываю и по обычаю: полегче бы, Иван Савватеевич, с зеленым вином. Куда оно гоже?

Рябов молчал.

Дед еще вздохнул, мягко, без укора добавил:

— Набуянишь во хмелю — и пропала буйна голова. Ты вникни, детушка, рассуди: горю оно, проклятушее, никак не поможет, а сколь многие наши Белого моря старатели на нем жизни лишились...

— А ежели она не в радость бывает, жизнь, — тогда как? — негромко спросил кормщик и помолчал, ожидая ответа.

Мокий хотел было что-то сказать, даже пошептал губами, но вдруг махнул рукой и поднялся. Сразу зашумев, поднялись остальные...

Из трапезной морского дела старатели вышли после обедни. Небо затянуло, шел мелкий дождик, чайки, широко распластав крылья, с криком носились над Двиной. Народ рассыпался по лодьям, заскрипели ворота, подымая якоря.

— На Новую Землю все шесть? — спросил Иван Кононович, оглядывая суда.

— Туда! — ответил Кочнев.

— Много нынче.

— На Грумант от Пертоминской обители, слышно, ныне побегут четырьмя лодьями. На Колгуев посадские с Онеги собираются — людей не менее семи...

Иван Кононович поправил очки на мясистом носу, сказал с умной усмешкой:

— Давеча, на Москве, был я на полотняном заводе, говорил с мастерами, как для нас, для поморов, добрую парусную снасть ткать. После, для ради прогулки, забрел на берег речки Яузы. Гляжу — бегают там суденышко малое, не более нашей двинской посудинки, что женки молоко возят. Челнок! А народу кругом — и-и-и! Силища! Чего, спрашиваю, у вас, православные, стряслось? Тут один с эдакой бородищей, в шубе, в шапке высоченной, мне отвечает: «Царь-де государь Петр Алексеевич от аглицкого ученого немца морские художества перенимает и для того на сем корабле, именуемом бот, упражняется!»

Корелин захохотал, закашлялся, махнул рукой:

— На корабле! Вон оно как! Бот именуемом! Слышал, Тимофей? Хотел я тому боярину слово молвить, да раздумал, ему с коня-то да в горлатной шапке виднее, где корабль и где аглицкий ученый немец...

Они еще постояли на берегу, провожая взглядами лодьи, кренящиеся под парусами на свежем ветру, помолчали, потом пошли к тележке, что поджидала их у ворот обители...

— А какое слово ты, Иван Кононович, хотел боярину молвить? — спросил Кочнев, когда тележка тронулась с места.

— А такое, друг мой добрый, — не сразу ответил лодейный мастер, — хитрое слово: поклонись-де царю, боярин, дабы не от аглицкого ученого немца морские художества перенимал, а к нам бы приехал — в Лодьму, али в Кемь, али в Онегу, али к Архангельскому городу. Недаром-де говорится — Архангельский город всему морю ворот. Есть у нас чего посмотреть...

Часть первая

В Архангельск!

Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти...
Ломоносов

Ступай и стань средь Океана!
Державин

Сии птенцы гнезда Петрова.
Пушкин

Не от росы урожай, а от поту.
Пословица

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. ПОТЕШНЫЕ

Душным июньским утром царский поезд под густой звон колоколов, благовестивших к ранней обедне, миновал Земляной город и не спеша двинулся к Троицкому монастырю. Москва только еще просыпалась: ночные сторожа убирали рогатки, что перегораживали улицы от лихих людей; уходили невыспавшиеся караульщики с алебардами и бердышами; сапожник, еще не вовсе проснувшийся, зевая и крестя рот, вывешивал сапог над убогой своей будкой; портной раскидывал забористых цветов кафтан; рыбак здесь же на ходу выхвалял своих карасей да лещей, еще шевелящих жабрами в берестяном коробе. Под ровный невеселый бой бубна плясал среди торгующих облыселый медведь в шляпе с пером. Из шалашей дебелие тетки тянули руки, предлагали свой товар — белила, да румяна, да вареную сажу — подводить брови. Тут же бранились и толкались безместные попишки и пропившиеся дьяконы, предлагая сотворить незадорого литургию, обедню али панихидку. Среди них совался туда и сюда высокий детина — искал пропавшие сапоги да шапку. В орешном ряду щелкали на пробу орехи, в медовом отпивали меда. Брадобреи у стены, в холдочке, стучали ножами, зазывая народишко брить головы, стричь волосы, выхваляя скороговорками каждый свое искусство:

— У нас бритовки острые, молодчики мы московские, мыльце у нас, пожалуйста, грецкое, вода московская, ножи острые, ручки наши ловкие...

— Ах, побреем, вот побреем...

— Стрижем, бреем, вались народ от всех ворот...

Бородатый мужик с веником, с плутовскими окаянными глазами, ходил, улещивал сладким голосом:

— Помыть-попарить, молодцом поставить, кто смел да ко скоромному приспел, айдате со мною, не пожалеешь ужо...

Царские потешные, Луков да Алексашка Меншиков, перевесясь с седел, спрашивали у мужика:

— Дорого ли веселье твое, дядя?

Мужик отмахивался:

— И-и, соколики, полно вам пошучивать. Езжайте своей дорогой...

— Да наша дорога к тебе в баньку...

— С Богом, с Богом...

Алексашка Меншиков вздыбил коня, уколол шпорами, догнал прочих потешных. Шум и разноголосый гам торговых рядов остался далеко позади; царский поезд, скрипя осями, вился из переулка в переулок; возницы лениво подхлестывали коней, негромко перебранивались, перешучивались друг с другом. Луков скакал сзади, кричал Меншикову:

— Гей, пади, расшибу...

В голове поезда чинно ехали Чемоданов, Якимка Воронин, Сильвестр Иевлев, дразнили царского наставника Франца Федоровича Тиммермана. Тот, неумело сидя в высоком сафьяновом седле, с опаской дергая богатыми поводьями и держа сапоги носками внутрь — чтобы ненароком не пришпорить мерина, — удивлялся:

— Разве я мог так думать? Я предполагал: забава есть забава. Когда его величеству благоугодно стало развлечь себя плаванием по Яузе...

— Пропал ты теперь, Франц Федорович! — сказал Яким Воронин. — Строить тебе корабли...

— Да он и не ведает, каков есть корабль! — засмеялся сзади Луков. — Небось забыл, Франц Федорович?

Алексашка Меншиков, скосив на Тиммермана прозрачные глаза, пообещал с веселой угрозой в голосе:

— Вспомнит! А не захочет вспомнить — сам и ответит. Верно, Франц Федорович? У него и подручные есть — старички голландские. Втроем вспомнят...

Тиммерман робко улыбался, потешные хохотали над его испугом.

К полудню, далеко оставив царский поезд, вместе с Тиммерманом миновали заставу. Московская черная пыль с золою, шум кривых улиц, городская духота — остались сзади. Луга и подмосковные рощи дохнули в разгоряченные лица запахом скошенных трав, нагретой солнцем листвою, доброй тишиной.

Неслышно текла река, манила прохладой, отдыхом.

Алексашка Меншиков крикнул купаться, скинул саблю с чернью и насечкой, нынче пожалованную царем, дорогой терлик, сапоги на высоких каблуках, размашисто перекрестился и, выгнувшись дугою, бросился в воду. За ним, разбежавшись, визжа на бегу, бросился в речку Воронин, за Ворониным — Иевлев. Покуда все купались, Франц Федорович сидел на бережку, под ракитою, думал свои грустные думы: как, действительно, делается, ежели надобно будет строить корабли для царевой потехи? Легкая ли работа — выстроить корабль, даже самый малый? И кто будет помогать?

Потешные кричали в воде, брызгались, играя топили друг друга. Всех больше буйствовал Меншиков. Франц Федорович, глядя на него, даже головой покачал: вот судьба! Только из царской конюшни, из конюхов, а уже с князьями запросто, и даже Апраксина не боится...

Купались долго, как купаются ребяташки, пока не посинели. Чтобы согреться, стали гонять друг дружку по берегу; падали, вздымая тучи песку; боролись с кряхтеньем и оханьем. Меншиков, с хитрым лицом подмигнув Тиммерману — молчи, дескать, старичок! — завязывал крепкими узлами рукава сорочек, поливал водою, присыпал песочком; сразу эдакий узел не развязать, а который умник потянет зубами — наберет в рот песку. Франц Федорович улыбался — дети и есть дети!

Отогревшись, все опять кинулись в речку — отмыться. В это самое время на дороге за рощицей послышались крики, свист кнутов, скрип осей. Измайлов — толстенький, розовый, сердитый — на крупном вороном, в белых чулках жеребце ветром вылетел из-за деревьев, закричал, осаживая коня над рекою:

— Мы там мучаемся, почитай, битый час, а они, срамники, вот чего делают! Ладно, сведает Петр Алексеевич, будет вам ласковое слово! Одевайся все сейчас!

Поднял жеребца на дыбы, ударил шпорами и пропал в роше.

Франц Федорович поднялся, забыв про своего мерина, обдергивая на круглом животике кафтанчик, поправляя на шее всегдашний белый шарфик, бочком побежал за Измайловым. За ним, быстро одевшись, вскочил на своего солового Меншиков. Другие в отчаянии теребили узлы, ругали последними словами Алексашку, бежали к лошадям полуголые...

На дороге, идущей в гору, в песке по самые ступицы увязла подвода о пяти осях, на которой пеньковыми веревками был привязан царев потешный струг. Стрельцы, рейтары, плотники, свитские, мешая друг другу, толкаясь, подбуживали колеса деревянными слегами, подкладывали брусья, нахлестывали кнутами измученную, тяжело дышащую упряжку...

Узнав царя издали по его огромному росту, Меншиков почти на скаку спешил и закричал из-за спины Петра, будто никуда не отлучался и всегда тут был:

— А ну, раздайся, не столбей! Э, слышь, народ, не мешай мешать, тут и одному делать нечего! Повозочные, разом бери, не зевай, с ходу наваливайся!

Петр Алексеевич закатал рукава разорванной и испачканной дегтем рубашки, погрозил Меншикову кулаком, устало утер ладонью потное лицо. Александр Данилович оттолкнул Петра плечом, ухватил храпящего коренного за недоуздок, другой рукой повернул к себе дышло, закричал лешачьим голосом, да так, что упряж-

ка из тридцати лошадей рванула разом. Струг вздрогнул, подводы выбрались из песка. Петр, улыбаясь на вечные Алексашкины хитрости, надевая на ходу кафтан в рукава, пошел вперед.

К вечеру царский поезд догнал Борис Алексеевич Голицын — привез Петру благословение царицы Натальи Кирилловны и ее слова, чтобы-де Петруше непременно быть у Троицы и помолиться чином. Петр блеснул карими глазами, весело ответил:

— Для того и едем, Борис Алексеевич...

— Ой, Петр Алексеевич, не для того, я чай, едем! — покачал головою Голицын.

— Как управимся, так и помолимся! — начиная сердиться, сказал Петр.

В лесу, в благодатной предвечерней свежести, раскинули ковер — ужинать. Иевлев, Федор Матвеевич Апраксин и Луков неподалеку собирали крупные ягоды земляники, переговаривались усталыми голосами. Яким Воронин, затаившись, кричал филином.

— И несхоже! — громко сказал Апраксин. — Собакой лаять может наш Яким, а филином — несхоже...

Воронин загавкал собакой.

— А Меншиков прячется от нас! — сказал Иевлев. — Бойтся! Ничего, Федор Матвеевич, доживем мы до своего часу, помянет, как узлы вязать да песком посыпать...

Меншиков крикнул:

— Давай все против меня боем! Все на одного? Выходи, не забоюсь!

Покуда ужинали, мимо, по дороге, грохоча на корневищах, со скрипом и грохотом ехали подводы с корабельным припасом — строить на озере потешный флот. В бочках и бочонках везли ломовую смолу, клей-карлук, навалом, перетянутые лыком, липовые, дубовые, сосновые москворецкие доски, в мешках — козловую шерсть — конопатить суда, в коробьях — канаты, нитки корабельные, парусину...

Свесив ноги с грядки, на подводе проехали корабельные старички-голландцы, у обоих были ошалелые

лица — то ли от быстрой и тряской езды, то ли оттого, что предстояло строить потешный флот...

Борис Алексеевич Голицын проводил голландцев взглядом и, вертя дорогой, с алмазом перстень на тонком пальце, промолвил:

— Давеча спрашивал у старичков — довольны ли, что возвращаются к своему мастерству. Переглянулись — ответить не посмели...

И засмеялся лукаво.

Петр, не слушая, жадно жуя пирог-курник, глазами пересчитывал подводы, не мог отыскать той, на которой везли жидкую смолу.

— Да вот она, государь! — сказал Иевлев. — Вон, шесть бочек...

Царь, прихлопнув на шее комара, велел подать роспись для кормового двора — весь ли припас взят, не забыто ли чего. Сильвестр Петрович Иевлев взял вторую роспись. Царь читал, Иевлев помечал крестиками все, что при нем укладывали.

— В сию вечернюю пору, господа корабельщики, надлежит нам выкурить по трубке доброго табаку! — сложив роспись, сказал Петр.

Потешные поташили трубки из сумок и карманов. Петр набил свою трубку первым, закурил, закашлялся. У Чемоданова на глазах проступили слезы. Луков курил истово, сидел весь окутанный серым дымом.

— Корабельщики курят никоциант в тавернах и в австериях! — сказал Петр. — Так, Сильвестр?

— Так! — давясь дымом, ответил Иевлев.

— Нет такого корабельщика истинного, чтоб не знался с трубкою! — изнемогая, сказал Петр. — А который трубку не курит — не корабельщик, а мокрая курица!

Он задыхался, но смотрел твердо. Впрочем, все они смотрели твердо друг на друга, только глаза у них были подернуты влагою да в ушах звенело. Ежели они корабельщики, то и курить надобно табак!

Внимательно глядя на корабельщиков, на то, как мучаются они со своими трубками, как тарашат налитые

слезами глаза и как кашляют, улыбался красивый Голицын, ласково думал: «О, юность, юность! Чего не делается в сем возрасте? Небось предполагают, что и впрямь они мореплаватели истинные!»

— Ты об чем это? — голосом словно из-под земли спросил Петр.

— Размышляю, государь, — спокойно ответил Голицын.

Якимка Воронин встал, пошатываясь ушел в кусты справляться со своей дурнотой. Никто не засмеялся ему вслед, никто не проронил ни единого слова. Только Чемоданов прошептал:

— Ох, смертушка моя...

2. ВАМ СТРОИТЬ КОРАБЛИ!

Сто с лишним верст от Москвы до Переяславля-Залесского царский корабельный поезд прошел за двое суток. У торгового сельца Ростокина много подвод застряли, их не стали дожидаться. Петр, нетерпеливо ругаясь, торопил повозочных, чтобы к озеру поспеть до вечера. Так и сделалось — к ночи народ повалился спать у самого берега, тяжелая дорога и удушливая жара сморили самых выносливых.

На заре Петр, опухший от злых комариных укусов, приказал бить тревогу. Потешные, словно и не было барабанного боя, завывания рогов, продолжали сладко спать на росистой траве. Денщики будили своих бар, дергали за ноги, плескали озерной водой в лица.

— Ох, батюшка, и нетерпелив же ты! — посетовал Голицын Петру.

Петр не ответил, только сплюнул далеко в сторону. Над едва плещущим озером стоял туман, в тихом, теплом воздухе занимающегося дня зудели комары...

Из лесу все еще тянулись отставшие подводы с бревнами, тесом, пилеными досками, битым камнем. Стреноженные кони потешных фыркали на лугу...

— Строить флот на озере останутся Апраксин с Иевлевым! — сказал Петр, подходя к столбникам и потешным, среди которых у самой воды стояли Голицын, старенький Тиммерман, Апраксин и голландские мастера Коорт и Карстен Брандт. — Строить флот, а для того — верфь корабельную. Строить еще на сваях, как давеча думали, пристань приличную для кораблей. Еще строить батарею на мысу Гремячем. А тебе, Воронин, учить для флоту матросов...

Якимка Воронин поморгал, Иевлев с Апраксиным незаметно переглянулись, Борис Алексеевич Голицын молча глядел на тихое озеро, будто видел там и флот, и батарею на берегу, и верфь. У Тиммермана лицо было испуганное.

Стрельцы, рейтары и повозочные, обстиравшись и помывшись в озере, ушли к Москве. Петр Алексеевич прогостил всего несколько дней, пытался с Тиммерманом и голландцами починить старую яхту, но, не добившись толку, ускакал с Голицыным, Меншиковым, Измайловым домой — командовать сухопутными потешными сражениями.

Вскоре царь прислал мужиков бить сваи, строить пристань, тесать лесины для будущих кораблей. Старшего над мужиками не было; какая будет пристань, никто толком не знал; что за тесины надобны для кораблей и какие будут корабли, даже Франц Федорович Тиммерман сказать не мог. Апраксину, Иевлеву, Воронину и Чемоданову с голландскими старичками деревенские плотники поставили хибару — два слюдяных окошка, пол земляной, печка. Тут же и варили в чугуне что придется — щи с ветчиной, уху, жарили озерную рыбу...

Нагнанные мужики — некормленные, злые, оторванные от своего дела невесть для какой причины, искусанные комарами — повадились ходить в сельцо Веськово — от своих нужд кормиться чем промыслят.

Тиммерман со своими старичками — Карстеном Брандтом и Коортом — каждый вечер беседовали подол-

гу, писали на грифельной доске, чертили, но начертить толком ничего не могли. Субботним вечером, когда Иевлев с Апраксиным вернулись из веськовской бани, Франц Федорович сознался, что верфь начертить не может, ибо такого дела не знает. Старички Брандт и Коорт закивали: да, да, не можем, не знаем, раньше знали, а теперь забыли, да и верфь тут построить трудно.

— Чего ж так? — спросил Апраксин. — Трубки курить знаете и нас учите, а верфь забыли...

Сильвестр Петрович сел на лавку, задумался. Апраксин ходил по избе — от стола к углу, от угла к столу. Яким Воронин грыз ногти, вздыхал.

— А не будет того, что Петр Алексеевич сию потеху вдруг возьмет да и позабудет? — спросил он негромко.

Иевлев так же негромко ответил:

— А по тебе станется в радость, Яким? Или не толковали мы о том, какими знатными будем с прошествием времени моряками? Или не видели мы в воображении нашем фрегатов и галер? Забыл?

Недоросль Васька Ржевский спрыгнул с печи, накинул на зябкие плечи кафтан, сказал брюзгливо:

— То дело не наше — флот. Батюшка мой так мне и толковал. Флот — дело иноземное. Не было у нас того в заводе, и не надобно нам. Пристань на сваях! Да какой такой пристань, откуда он взялся на нашу голову? Верфь, пушки на озере...

— Не выспался, что ли? — жестко спросил Апраксин. — Поди доспи. Там небось теплее, на печи... Иди, иди, Василий Андреевич, больно болтлив стал, как я погляжу...

Ржевский, испугавшись, что сказал лишнее, тут же заврался:

— Да бог с тобой, Федор Матвеевич, где мне знать. Я едва приехал, молодешенек, куда мне...

— Вот и сиди на печи...

Василий закутался поплотнее, посмотрел на Апраксина исподлобья, заложил русую отросшую прядь за

ухо. Рассудительно заговорил Франц Федорович Тиммерман:

— Надо строить корабль, ибо господин Питер может нас далеко не одобрить, если мы ему не построим фрегат. Батарея на мысу Гремячем — это хорошо. Боевые часы — тоже хорошо. И пристань мы выстроим — то дело нетрудное, выстроим просто, без всяких затей. Но если, господа, хотим мы угодить нашему государю, то надлежит нам сделать то, для чего будет палить игрушечная батарея, для чего будут идти боевые часы, для чего будет стоять наша маленькая пристань. Надо построить со всем изяществом и хитростью маленький потешный веселый кораблик. Не правда ли?

Федор Матвеевич снял со свечи нагар, пристально посмотрел на Тиммермана.

— А что, ежели сия потеха и не в потеху обернется? Не вижу я, Франц Федорович, резону, чтобы только лишь угождать Петру Алексеевичу, а не самим малость умом пораскинуть. Государю еще и осьмнадцати лет не исполнилось, многим из нас куда поболее. И не холопи мы ему, а добрые советники...

Тихо стало в хибаре. Тиммерман будто с удивлением смотрел на Федора Матвеевича. Яким вновь принялся грызть ногти. Только один Чемоданов, ничего не поняв, заговорил утешительно:

— Други, други, для чего нам не наше мозговать? Что нам государь наш повелел, то и сделаем со всем прилежанием, а на потеху али не на потеху — то до нас некасаемо. Живенько надо пристань строить, и верфь, и корабль, да такой корабль, чтобы не потонул он, спаси господи, а поплыл, да чин чином, с парусом, со снастью, и чтобы пушка на нем палила. Ротмистр, даром что на Москве, об деле мореходном только и думает; надобно нам сделать что можем. Не поспеем — взыщется с нас, того и гляди попадем в опалу. А поспеем — пойдет наш корабль с пальбой по озеру, да с громкой пальбой. Государь-ротмистр страсть любит, чтобы пушка громко палила...